Три воинства числом до девяти
Готовы бой отчаянный вести.
…чтобы вести за ломбером судьбу
Двух рыцарей, вступающих в борьбу,
Выходит вся сверкающая рать
На бархатное поле воевать.

А. Поуп. Похищение локона

ГЛАВА ПЕРВАЯ. БУРАН

Пара понурых коренастых лошадёнок еле тянула на первый взгляд лёгкий рогожный возок с лубяным верхом и рваной дырой в кожаном переплёте ремней. Правил каурками неповоротливый густобородый извозчик в огромном собачьем тулупе, мохнатом волчьем треухе и в рукавицах-«шубенках»[2]. Боясь сбиться с пути, он на чём свет клял паршивую непогоду и безотрывно буровил прищуренным взглядом снежную свистопляску на дороге. Буран свирепел и вскоре стал разбойничать люто и беспредельно. Даже широкие полозья возка не выдержали, шатко заскрипели, натужно застонали. Сильные порывы ветра били и зверски трепали в разные стороны задубевшую рогожу лубяного верха, грозя опрокинуть хлипкий возок в любой момент. Не прошло и получаса, как санный путь окончательно перемело. Возница забоялся, рванул поводья и тут же въехал в невидимый сугроб. Возок наклонился, завис на минуту и рухнул набок. Лошади осели назад и отчаянно заржали.

Бранясь и барахтаясь среди мешков, корзинок и саквояжей, из-под рогожи едва выполз ничего не понимающий, заспанный путник:

– Еремей, чёрт косорукий! Дубина стоеросовая! Править разучился? Зря я на тебя понадеялся. Брёвна тебе таскать по руднику на твоих клячах, а не в столицу извозом...

– Не моя провинка, Егор Михалыч, – озлился извозчик, помогая барину подняться, – зря грешите на мя! Ишь кака некать[3], аж полозья скособочило. Да и ветер прямо в рожу дует, все зенки снегом залепило.

И, вымещая на животине своё раздражение, больно огрел одну из каурок мёрзлым кнутом. Та вздрогнула, взбрыкнула и в ответ хлестанула хвостом извозчика наотмашь, прямо по глазам. Ерёма взъярился ещё пуще и заругался матерно и длинно.

---

[1] Ломбер – старинная карточная игра.

[2] Шубенки – рабочие рукавицы, сшитые из старых шуб, шерстью внутрь.

[3] Некать – шершавый снег, в сильный мороз не позволяющий катиться полозьям и лыжам.

Заводской управитель Егор Михайлович Арцыбашев, державший путь в российскую столицу, рассмеялся от души. Давненько он не слышал такой отборной брани. Шутя, выгреб из-под воротника неприятно колючий снег и нацепил на голову свалившийся при падении лохматый малахай[1], длинный рыжий мех которого скрывал горячие угольки смешливых глаз, но выдавал добродушный густой бас:

– Уймись, охальник. Лучше скажи, долгонько ли до Петербурга осталось?

– Да в прошлой станции смотритель сказывал, ишо версты три волокчись, – тут же утишил свой гнев возница и забубнил угодливо: – Не сумлевайся, барин, щас я обухом полозья-то выправлю, да гамузом[2] враскачку возок и поставим. Мешкать неколи, дотемна к месту добраться не худо бы. А то опеть от волков отбиваться, язви их…

Вскоре плечистый заводской управитель и дюжий ямщик вместе поднатужились, подняли повозку на полозья и погрузили заново поклажу.

Разгорячённый барин полез внутрь выстуженного возка с опаской:

– Как бы не прозябнуть. Покрой-ка ты меня, Ерёма, ещё одной рогожкой.

Ерёма исполнил барскую просьбу и, взбираясь на облучок, тяжело выдохнул остатки ворчания в заиндевелые усы: «Эх-хе-хех! Вам-то што? Барское дело какое? Полёживай в тепле да жуй барчу[3], – он зло потянул поводья. – Но! Растележились тут, вашу… А мне-то каково? От самого Ирбинского рудника сопли на хиусе морожу. Брюхо к хребту прилипат».

Кони прибавили ходу, и Ерёма вроде как оттаял, но продолжал занудливо бурчать: «Токмо и радости, што барин деньгу справно платит да еду на станциях не жадобит. Но, родимые! Ужо и вам будет…»

Арцыбашев и впрямь пошарил рукой в холщовом мешочке, перекусил сушёной маралятиной, пригрелся под рогожкой, закемарил и провалился в тяжёлый глубокий сон. И виделось ему, как там, в оставшихся далеко позади диких неприступных сибирских горах, стонали вековые кедры под мужицким топором. Хрипели покорные крестьянские лошадёнки и волокли из тайги по гнусной болотине тяжеленные стволы могучих дерев. Надсадно горбатились приписные крестьяне и каторжане, обгораживая новый рудник острыми кольями. Без роздыху рубили сторожевые башни, бараки, караульные избы, контору, мельню, пекарню, баню. Спешили поднять плотину и расширить устье реки, чтоб способней было сплавлять на баркасах руду до будущего завода. Прикованные к тачкам кандальники с ранней весны до седых заморозков корячились, таскали землю из тайги, укрепляя болотные зыби. И всё бы ничего, да приключился в тех местах великий мор. За каких-то девять дней все каторжане повымерли от сибирской язвы. Куда деваться? Батюшка отпел горемык всем скопом и освятил первый, без крестов и памятных знаков, погост колодников, что разместили в скальниках по правому склону Железной горы. И теперь ни работной силы, ни денег, отпущенных на вольный наём, не осталось. И указа о заводе нет как нет…

От беспокойства проснулся заводской управитель, выглянул наружу, окинул взглядом спокойную белую равнину и вздохнул: «Слава Богу, быстро унялась непогода. Так бы дела государевы вершились. Ан нет, незнамо какой пургой, в каких чиновьих кабинетах наши-то бумаги кружит-метелит».

Свёл хмурые брови, прикинул в уме. Оказалось, уж пять годов минуло, как рудознатец Андрей Сокольский, узнав о кузнечном промысле Коссевича, открыл богатый железом Ирбинский рудник и отправил бумаги на высочайшее рассмотрение об учреждении там завода. Покуда ждали царскую печать, царёв советник Татищев, радетель за силу государства российского, взял и втайне отправил его, горного инженера Арцыбашева, на подготовительные работы. Пять лет! Сколько трудов, сколько жизней положено. А указа нет как нет. Намертво остановилось дело.

Вспомнил, как в унылости напутствовал его Андрей Сокольский:

– Спознай, Михалыч, об чём они там наверху-то думают? Осталось дело за малым: начать и кончить строить завод. Чего с бумагами канителятся? Аль Расее железо без надобности?

И вот теперь Арцыбашев второй месяц добирается из Хонгорайской земли в Петербург, до управляющего Сибирскими заводами Василия Никитича Татищева. Потому как одна надежда на честь государева мужа. Уж он-то придумает,

[2] Малахай – род старинного крестьянского головного убора – большая шапка на меху, с наушниками.

[3] Гамузом – вместе.

[4] Барча – особый вариант консервированной рыбы, который крайне популярен у коренных народов Сибири.

как сдвинуть дело с мёртвой точки да с мёрзлой кочки…

К полночи путники подъехали к городской заставе. Полусонный в вязкой дремотной тьме, Петербург встретил их тяжким затаённым молчанием. Угомонились и отдыхали от суетного будня горожане. Лишь изредка взбрёхивали в глухих проулках одичавшие стаи бродячих собак, да кое-где на подоконниках подслеповатых окон скудно теплились лампы-маслёнки и жировки. Чай, не праздник огни лить да шумно гомонить. Только по великим торжествам, по высочайшему требованию императрицы Анны Иоанновны, и то нехотя, обыватели выставляли в окна домов по три-четыре толстенные восковые свечи и жгли до самой полуночи. В будни же петербуржцы обычно скаредничали, приберегали запасец. Рассуждали так: торжеств у государыни много, а разоряться на царскую прихоть приходится из собственного кармана. Но Зимний дворец, Адмиралтейство и потешный театр неизбывно блистали множеством ярких огней. Столица как-никак…

У дворца извозчик приостановил возок. Арцыбашев сдёрнул с головы лисий малахай и поклонился сверкающим царским чертогам и дворцовой страже, а Еремей облегчённо перекрестился.

– Слав те, Господе! Сохранил боженька живот наш! Домыкались до места, – крикнул караульному: – Служивый, а хде тута буде Артиллерийска слобода?

Караульный неопределённо махнул рукой в сторону, вдоль Невы. Ямщик уже веселее понукнул каурок, и они, предчувствуя скорый тёплый кров, легко затрусили к просторному рубленому дому с высокими деревянными колоннами.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ТАТИЩЕВ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

А в это время в опрятной, но не очень уютной петербуржской квартире пожилой вислобровый денщик Афанасий укладывал в постель хворающего барина, того самого управляющего Сибирскими заводами, царского тайного советника Василия Никитича Татищева. Он заботливо, по-бабьи, замотал болезного в собачью вязаную шаль и завалил тёплыми одеялами.

И пока хлопотал вокруг него, безостановочно и сварливо выговаривал:

– Ишь каков! Все баре как баре. Лежат себе на диванчике, калёны орехи грызут. А энтово всё носит куды-то по морозу и носит. Всё чевой-то хлопочет и хлопочет. Ни людям, ни себе спокою не даёт. Истинно говорю, бездомовник ты, Василий Никитич, и безбабник. Супруга твоя, разлюбезная Авдотья Васильевна и та бездомовья твово не сдюжила. Потому и с игуменом Раковского монастыря снюхалась, блудом блудила. Пока ты по Сибири околачивался, она всё хозяйство твоё порушила, в прах раструсила. Одёжу не токмо твою распродала, а и деверя Ивана Никитича разнагишала. Видано ли сие дело? Хорошо, бабу отженили и под зад мешалкой наладили, а инако пузо от попа нагуляла бы? То-то посмеху было б!

– Полно тебе, Афонька, бабу гнобить. Лучше помоги хворь одолеть. Я великой старости ещё не достиг, а вся моя крепость уже изошла. Ткни – в прах рассыплюсь. Вон глянь, как язык к гортани прилип.

И он выпятил вялый, обложенный белым налётом язык, задышал натужно, в груди хрипло забулькало.

– Святые угодники! Страсть-то какая! Накось, похлебай малинова взвару с медком да пропотей как следоват. А как жар спадёт, в баньке тя пропарю. Глядишь, Бог помилует и на энтот раз, – загоношил ещё более сердобольней денщик, но укорять барина не переставал: – Так скоко можа по чужим землям шастать? То в иноземье над науками невесть как исчахнулся, то в баталиях петровых ранами исходил, то на Каменном поясе хуже кандальника изробился, руды добывал. Весь иструдился, выболелся наскрозь! И чаво так вырабливаться? Пора уж угомониться.

Он прошаркал к ореховому секретеру, достал из ящичка уже распочатое письмо с искрошенной ногтями восковой печатью:

– Вон тебе цидульку[1] дочка прислала. Прочтёшь али как?

– Худо мне, башка шибко трещит. Сказывай сам, всё ли ладно у Евпраксиньи?

– Да вроде на мужа не жалобится. Холит её, почитает как супругу. В доме не скудно. Чево ишо бабе нужно? Пишет, што очревателa[2]. Отрезанный ломоть, почитай, своей семьёй живёт. Но братца свово, отрока малолетнего, которого ты в Кадетский сухопутный корпус спровадил, намедни проведала.

– Здрав ли сыночек? – с опаской высунулся из-под одеяла Татищев.

[1] Цидулька – письмо.

[1] Очреватеть – забеременеть.

– Слав те, Господи, крепенек Евграфушка! Похвалялась, што в учёбе досуж и служит бравенько.

– Пусть, пусть с младых ногтей учится быть полезным Отечеству, – прочувствованно изрёк измученный потом советник, сморкаясь в носовую утирку. – Оно и мне не будет стыдно за отрока.

Афанасий убрал письмо и недовольно засопел. Прошаркал к порогу, присел на низкий табурет и взялся яростно надраивать промасленной тряпицей грубую кожу барских ботфортов, найдя в них новый объект для брюзжания.

– И хде, сударик, ты только умудряешься так чёботы изгваздать? Да рази это обувка? В слякоть ещё туды-сюды, а в стужу надобно в пимы переходить. Не молоденький ужо. Подагру-то свою холить надось. И башку поберечь тож.

Он язвительно скосил глаза на подставку со взъерошенным париком и напяленной на него зелёной треуголкой.

– Ладно бы на царицыно вылюдье вычембариться[1], а на обудёнку надоть треух меховой носить, – он скривил пренебрежительно назидательную гримасу. – Треуголка хуть и фасониста, да только в ёй ухи наголе и морда на студёном ветру. Тут и на пукли нет надёжи. Они для красы, можа, и хороши, а башку всю вызнобит.

Полюбовавшись блеском голенищ, аккуратно поставил ботфорты со стальными подковками в угол, поднялся и с чувством исполненного долга перекрестился на образа:

– Прости, Господи, и помилуй мя, грешного…

Вдруг на первом этаже хлопнули парадные двери.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

– Хто там ишо прётся? – снова посуровел Афанасий, прервав молитву. – Ломятся бесперечь все кому не лень и бездокладно косяки сшибают.

В дверном проёме спальни возникла огромная медвежья доха на чёрных ичигах[2]. Из-под рыжего меха лисьего малахая загудел добродушный бас:

– Василь Никитич, принимай нежданного гостенёчка из многорудной матушки Сибири.

[2] Вычембариться – вырядиться.

[3] Ичиги – вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником. Внутри утеплены толстым войлочным чулком.

– Егор Михайлович! – ахнул Татищев, спешно выпутываясь из груды одеял. – Друг ты мой сердешный! Вот уж кого не ждал ныне, чаял, к лету возвернёшься. А я, вишь, неурочно расхворался.

– Куды, куды с холоду-то лезешь, окаянный! – закудахтал на гостя рассерженный Афанасий.

Но Арцыбашев, скинув с плеч негнущуюся доху прямо на пол, оставшись в овчинном полушубке, широко шагнул в комнату. Отодвинув плечом гневливого денщика, нагнулся и сгрёб в охапку Татищева.

– Ну глянь на него! – радостно просипел тайный советник. – Медведь медведем, а не горний офицер. Разболакайся давай, а то упреешь в шубе.

Арцыбашев бережно усадил болезного на край кровати, прикрыл плечи одеялом и только потом снял крытый шинельным сукном полушубок. Гоголем прошёлся перед Василь Никитичем в чёрной сибирке[3], синей полотняной косоворотке и широких плисовых шароварах.

– Хорош молодчик, неча сказать! – восхитился советник. – Совсем очалдонился, потомственный дворянчик, – и перевёл просительный взгляд на денщика. – Афоня, сделай божью милость, определи возчика в закуть да прямо сейчас истопи нам побаниться. Егор Михалыч косточки отогреет, а я подлечусь.

Денщик подобрал брошенные вещи и, не переставая бубнить, вышел из комнаты распорядиться по хозяйству.

– Ну, пока денщик управляется, давай-ка трубки пососём, – Татищев вздохнул и достал из-под перины затейливую глиняную трубку, набил табаком, жадно закурил. И тут же забухал сухим кашлем. – А ты в оконце-то поглядывай, как бы не захватил врасплох. Я ведь втайне, он мне курить не дозволяет. Итак, грит, вздыхательные гнилые, так ещё от чёртова зелья чахнут. Прознает, потом целый день будет зудеть и зудеть. Всю душу на кулак вымотает попрёками. Вреднючий, изверг, как тыща чертей!

– Дивлюсь я на тебя, Никитич. Что-то, однако, ты много потакаешь прислуге! – шутливо возмутился горный инженер, набивая свою трубку, сделанную из сибирской лиственницы. – Прямо не на шутку верх над тобой взял. Батожья бы ему не мешало б.

[4] Сибирка – верхняя одежда, короткий кафтан в талию, со сборами, без разреза сзади и со стоячим воротником.

– Твоя правда, Егор Михалыч, шведа под Полтавой так не опасался, как его. Да токмо не за слугу Афанасия держу, а за боевого товарища. В той полтавской баталии он меня, раненого, из-под пушечного огня на себе выволок да в лазарете, как дитё, выпестовал. Я ведь тогда отроком был, а он – мужиком уже. Отслужил, возвернулся в родную деревню, а там ни кола ни двора. И родня его уже похоронила. Вот Афоня и ко мне, в ноги повалился: «Не гони, мол, сирота кругом». С тех пор остался при мне денщиком. Пожил-пожил да на стряпухе моей и женился. Так к дому навек и прилепился.

Советник снова закашлялся, громко чихнул и в сердцах выбил трубку:

– Не могу сегодня, так и вертит чих в носу, – аккуратно обтёр её тряпицей и упрятал в потаёнку. – А ещё, мил друг, Афанасий вывел меня из беды, когда проведал, что моя лиходейка-жена по тайному сговору с полюбовником травить меня беленой умыслила. Аки пёс цепной по пятам за ней ходил, доглядывал. Куска мне не давал в рот положить, покуда сам не спробует. О как! А ты говоришь: «батожья-я».

– Ладно, ладно. Не прав. Прости великодушно, – пытался успокоить обиженного хозяина заезжий гость. Но тщетно. Тот уже защищал своего «домового» в полный голос, срываясь то на хрип, то на сип:

– А как мы с Авдотьей Васильевной развенчались, то и обиход домашний вёл, кажну вольну копеечку берёг и за чадами моими доглядывал. Я-то веселюсь одной службой, и впрямь бездомовник, всё по государевым делам в разъездах. А на Афоне вся крепость моего дома держится…

В двери появился недовольный денщик, ворчливо осведомился:

– Вечерять пора. Гостя побасками, чай, не кормят. Накрывать, што ль? – и, не дожидаясь ответа, начал метать фарфоровые тарелки на льняную скатерть. А через минуту его грозный рык уже гремел в поварне, над головой жены: – Акуля, чаво копаешься, аки вошь в коросте? Колготись живей, господа ясть изволят.

– И то верно, – засуетился среди одеяльных холмов Василий Никитич, с трудом поднялся, накинул на плечи одно из одеял и зашаркал к столу. – Не ради компанства, а приятства для по святой чарочке пропустим да о делах грешных потолкуем…

«Сдаётся мне, что и впрямь токмо потолкуем. Куда ему «в бой» со своей хворобой?» – пронеслось в голове Арцыбашева. И тут же припомнил дорожную примету о непогоде: коль застало в пути ненастье, знать, и счастье не скажет «здрасьте!». Но, понимая, что никто другой всё равно делу не поможет, решил набраться терпения и идти до конца. Зря, что ли, такой путь одолел?

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ЗА СЕКРЕТНОЮ БЕСЕДОЙ

– Будь здрав, Василий Никитич! Без тебя сибирскому прожекту как есть погибель, – Арцыбашев ухнул первый бокал в один присест, обтёр губы и возбуждённо продолжил: – А ведь мы работали без разгиба! В плотине уже сделали прорез для спуска воды, временные доменные печи заложили. Склады для древесного угля построили. Да всё почти готово к строительству завода. Токмо дело за указом и осталось.

– В том-то вся и закавыка! – нахмурился тайный советник. – Пылится указ наш среди неподписанных бумаг. Не до него чинушам. В какое присутственное место ни ткнись, везде кресло греет зад немчина, – Татищев тоже разволновался, налил по второй. – Эта хвороба посильней моей будет: у трона да в департаментах – везде немчура мышкует. Они и Расеей правят, и барыш под себя гребут, и мзды обильной требуют. А без того ни одной нужной бумаге ходу не дают. Не нужна им сильная Россия. А слабую – без зазору и страху оббирай, сколь мошна потянет, – причмокнул, выпив винного зелья, и погрозил куда-то наверх. – А всё Бирошка! Как воскрылился этот подлый курляндский конюх до фавора с самой императрицей, так всё и почалось.

Татищев прихватил вилкой кусок печёной телятины, поднял перед носом, объясняя ситуацию гостю на «натуре»:

– Это телок Бестужев-Рюмин маху дал! Вишь, угораздило его прихворнуть да отъехать к бабке-ворожее, что от мужеской немощи заговорами да травяными снадобьями лекарничала, – советник положил кусок мяса на тарелку поодаль. – А что Анна? Она хоть и царица, а всё же баба. Помаялась ночку, другую… – лоснящаяся стерлядка легла на передний край посуды, а рука советника потянулась за соусом из хрена, – вот тут-то смазливый студентишка-недоучка из Кёнигсбергского университета вовремя подсуетился и вспрыгнул козликом в царско ложе. Там-то его как негожего к наукам за шумство и воров-

ство из стен вышибли, а здесь к царскому двору пришёлся.

Никитич отправил стерлядку в хрене себе в рот, гадливо поморщился и, яростно жуя, перешёл на шёпот:

– И так, бугаина, удоволил царицу, што стал единым марьяжным куртизаном[1] порфироносицы. Каково! – и он подтянул ближе кусок телятины. – Одыбался Петрушка, ан нет, уже поздно. Курляндский бычок ему рога наставил и бодаться норовит. А рога у канальи уже не простые, а золотые. Рази дурак он – нагретое место уступать бывшему куртизану, – Татищев распрямился, взял нож и начал аккуратно отрезать кусочек, с издёвкой комментируя дальше: – Порвал-порвал Петруша на голове волосья, да с тем и получил полную отставку. Вот так-то!

Татищев закинул мясо в рот, отставил тарелку в сторону, запил обиду вином и потянулся к вазе с фруктами:

– А вслед за Бирошкой потянулись другие инородцы: датчане, пруссаки, вестфальцы, голштинцы и ливанцы. Отеческому человеку на родной сторонушке уже ступить некуда. И вот это всё мы теперя хлебаем полной ложкой…

Советник резко стянул с груди салфетку, бросил на стол, тяжело встал, скинув одеяло, заложил руки за спину и заходил в волнении туда-сюда:

– А царица им благоволит, во всём жалует. Уже казна государева в ущербе, дворянство и купечество оскудели, крестьянин по деревням грызёт кору, мрёт с голоду. А бирощикам всё мало и мало. Зато поперешников казнят немилосердно! Кутузки забиты несогласным людом. На площади – окровавленные помосты да виселицы. Кликнут: «Слово и дело»[2], а там и тайная канцелярия, – советник остановился за спиной Арцыбашева, наклонился к уху: – Вот шепнёт кто туда словечко об нашем с тобой разговоре, так не миновать и нам топора палаческого.

Арцыбашев многозначительно скосил глаза в спину хмурого денщика, повернувшего свои стопы к кухарне за очередной бутылкой ягодной наливки. Но Татищев махнул на него рукой, обнадёжил:

[1] Куртизан – придворный льстец, угодник.

[2] «Слово и дело государево» (а также «Суд да дело государево») – порядок участия в политическом сыске в России XVII–XVIII веков и принятое условное выражение, произнесение которого свидетельствовало о готовности дать показания.

– Не смотри, что он ворчун такой, язык за зубами на амбарном замке крепко держит. Сам Ушаков из тайной канцелярии из него хулительного слова клещами не вытянет. Афонька сдохнет под кнутом, а слова зловредного не сронит. В нём я боле, чем в себе, уверен.

И снова плюхнулся на стул, вытирая обильный пот с порозовевшего, уже от вина, раздражённого лица. Арцыбашев кивнул согласно и потянулся за жирной севрюжкой, осторожно заметив:

– Слышал я, Василь Никитич, горнозаводчики Демидовы и в нонешние времена весьма преуспевают?

– Верно, под Бирошку-то они ловко подладились, умаслили его щедрой деньгой. Бирошка этот только три первых года тишком деньгу казённую прибирал, а ныне совсем распоясался. Те выгодой для себя дают, этот – уже без утайки лопатой гребёт. Так чего им лаяться-то? Одного поля ягода! – ядовито фыркнул Татищев и громко высморкался в салфетку. – Эх, а какую мне-то Демидовы мзду со-о-вали, чтоб я казённые заводы на Урале не учреждал! Ан нет, не на того напали! Накося выкуси!

Никитич сложил в салфетке фигуристую дулю и покрутил ею в воздухе перед носом сконфуженного гостя. Опомнился и погрозил пальцем теперь уже невидимым заводчикам:

– Я, брат, всё помню. Как с мздой обломились, так донос на меня самому государю Петру настрочили. Мол, подлец Татищев устроил заставы и не пропущает подводы, отчего работные людишки на их заводе от бесхлебицы мрут. Да ещё, мол, энтот «тать» взял да и отнял пристань на реке Чусовой! Ах, кака бяка Татищев! – он широко всплеснул руками и горячо подытожил: – Нет, не по нраву Демидовым у себя под боком казённые заводики иметь. Вот они препоны[3] и чинят…

И Татищев повёл новый рассказ, вспоминая, как ещё в петровские времена безнаказанно вставляли Демидовы палки в колёса при строительстве казённых заводов, даже почту тайную и ту перехватывали. Да как по их оговору, его, государева мужа, стыдно отстраняли от должности и отдавали под суд. Хорошо, тогда сам государь не оплошал, послал честного советника Георга Вильгельма Генина для расследования поклёпа демидовского. Покопался-покопался дотошный голландец и

[3] Препоны – препятствия.

убедился в правоте Василия Никитича: и заставы были устроены по требованию сибирского губернатора, и пристань Татищев по праву отнял, потому как она построена Демидовыми самовольно на казённой земле, и мзды советник не берёт. И хотя Генин недолюбливал задиристого русина, но всё же не только обелил его от оговоров в глазах вспыльчивого и скорого на расправу царя. Даже убедил Петра назначить неопытного, но расторопного молодца директором всех сибирских казённых заводов. С тех пор и нашла Татищева «коса» на Демидов «камень».

Слушал сибиряк, слушал и всё реже тыкал вилкой, теряя не только аппетит, но и последнюю надежду: «Господи, на кого же уповать, коль таким государевым мужьям цены не ведают?» Кто-кто, а уж он, заводской управитель, понимал, что «птенец гнезда Петрова», ярый сторонник казённых заводов не мог спокойно смотреть, как хиреет и разоряется горнорудное дело и что лихоимцы Демидовы верх берут. Теперь у них уже за пазухой четырнадцать собственных заводов! А тем временем казённые на Урале сильно числом умалились.

«Что ж такое деется-то, Господи!» – задохнулся возмущением, но, увидев без меры потное лицо, дрожащие руки и праведный гнев в глазах советника, попытался по-своему успокоить его:

– Полно досадовать-то, Василь Никитич. Демидовские много руды добывают. Так не в пример казённым заводам и вдвое боле железа льют.

Зря сорвались эти слова с языка горного инженера. Не знал, не ведал сибиряк, что Татищева на днях чуть удар не хватил, когда царица по бироновскому наущению именным указом вывела заводы демидовские из ведения Берг-директориума и утвердила их в праве вольной распродажи железа и чугуна по своим рваческим расценкам. Да ещё вдобавок ту самую пристань на Чусовой им возвернула…

И оттого слова Арцыбашева кольнули советника как шилом в бок. Он взвился с места, отшвырнул от себя вилку и забегал в горячке вкруг стола, сшибая на пол посуду:

– Окстись, Егор Михалыч! Вырос ты с осину, а ума – на волосину. Да ежели бы комиссары, кои оными заводами ведают, не бездельничали, а управляли толково, то доход был бы не менее демидовского, – он резко остановился возле гостя, положил руки ему на плечи, заглянул в глаза. – На тебя, Егор Михалыч, у меня есть надёжа. Да где ж наберёшься на кажный казённый заводик по Арцыбашеву. Вот в чём беда!

И снова сорвался, обежал круг, налил в бокал водки, выпил залпом и устало свалился на стул.

Арцыбашев молча подал ему солёный огурец и потупил виноватый взгляд:

– Уж больно ты осерчал, Никитич, охолонись маненько. Это я так, к слову, брякнул. А ты прямо весь и взъерепенился.

Татищев огляделся, увидел, как денщик хмуро подбирает осколки фарфора и столовое серебро, услышал его боязливое ворчание:

– А я-то уж грешным делом испужался, кабы тя, барин, припадком не дёрбануло, прости Господи! – перекрестился тот на образа и глухо спросил: – Чай подавать? Али в баньку сперва?

– Да погоди ты с чаем! – махнул раздражённо барин и, заметив растерянность Арцыбашева, укоротил свой гнев. – Прости, Егор Михалыч, что-то я не в себе сегодня, – и тут же продолжил уже спокойнее, заправляя чистую салфетку за жабо. – А ты сам рассуди. Демидовы ничуть не лучше иноземцев, токмо свой шкурный интерес и блюдут. Вкупе с ними без стыда раззоряют казённые заводы. Не зря говорится: худа та птица, которая в своё гнездо гадить не боится…

Татищев неожиданно сник, старчески ссутулился и прохрипел осипшим голосом:

– Афоня, как там баня? Очищенья жажду. Смыть желаю всю эту жизненну мерзость…

ГЛАВА ПЯТАЯ. ЧУДСКАЯ ДИКОВИНКА

Арцыбашев искренне порадовался перемене, думая, что советник успокоится наконец, пустив под калёный веник все надрывные переживания, и первым пошёл за саквояжем с вещами.

Но не тут-то было. И когда шли в парилку, и когда лежали на полке, грея телеса, советник не унимался и продолжал возмущённо сетовать:

– Сколь годов я постигал тайности горнорудного дела? На Кунгуре и в прочих местах со-о-ро-к серебряных и медных заводов открыл. А кого над мной царица учредила? Какой-то дрянненький Берг-директориум, а во главу его выскочку иноземную – Шомберга! Вошь саксонская! В горном деле разбирается, как свинья в апельсинах. Представляешь, Егор Михайлович, – Татищев поставил на «попа» рядом лежа-

щий берёзовый веник и расшиперил ветки, – рудные искатели животики надорвали, когда получили от него распоряжение искать руды в местах, где у деревьев сучья от мороза раздвоились, или там, где роса на лугу на восходе лежит.

И он стряхнул на инженера горячие брызги. Тот вздрогнул от неожиданности, но продолжал лежать, млея от жара и навалившейся усталости. Тем временем Афанасий колдовал над вениками, паря их в отдельной кадушке. Чуть поддавая на каменку, тряс раскидистый веник, набирая в него горячего воздуха и ласково шурша берёзовым листом по разогретому телу барина. От приятности тот стал говорить медленней, нараспев, но тему упорно не менял.

– А всё отчего-о-о? Покровитель ему – Би-ро-о-н! А тому спосо-о-бнее через Шомберга себе и немецким родичам заводы вы-ы-хитрить. Вон теперь ужо и к богатейшему руднику Благода-а-а-тному лапы загребущие протянул.

– А ну как и наш заводик приглянётся? – опасливо вскинул голову от полка Арцыбашев.

– Эт верно, захочет сено коза, так сразу и будет у воза́. Но пока нет регламента, Ирбинское железо ещё послужит России. Это я тебе обещаю. Хотя, сам понимаешь, полушечки[1] с каждого пудика всё одно отсыпятся Бирону в секретну кубышку. Не без того! У него ведь потайная подкладка дороже кафтана[2]. На что-то же ему надо покупать именья в Польше и Германии, конские заводики, экипажи…

Татищев угрюмо кивнул денщику:

– Ну, Афоня, начинай, а то совсем ослабну, не выдержу.

Денщик только того и ждал, подправил веничек, взял другой и пошёл хлестать двумя руками по очереди.

Барин охнул:

– Вот, вот. Терзает Рассеюшку, аки жертву беззащитную, курляндское чудище быкоголовое…

А когда Афоня отстегал своё, еле поднялся, выдохнул и воинственно пообещал.

– Но я ещё тот поперешник, пободаюсь с златорогим Минотавром за наш заводик, – с помощью денщика сполз с полка и побрёл в предбанник к кадушке с водой. По ходу повелел: – Сам охолонусь. А ты поддай-ка ещё парку гостю! Ажно чтоб неповадно было! – и хитро улыбнулся разомлевшему Арцыбашеву. – Ну, друг мой ситный, держись. Аки попотеем, так и умом просветлеем.

И только Афоня взялся за гостя, как тот, покряхтев и постонав с минуту, вдруг снова вскинул голову:

– Батюшки святы! Совсем запамятовал! Да погодь ты, Афоня, передохни малость, – он торопливо слез с полка и поспешил вслед хозяину. – Никита Васильевич, я что вспомнил-то…

Татищев отдыхал, попивая ядрёный квасок из деревянного ковша.

– А я что говорил? Эк ты скоро умом просветлел, однако. И что за спешка такая? Хуть обмойся для начала да кваску медового спробуй. Знатный квасок-то.

Арцыбашев отмахнулся от протянутой кружки с квасом и, нетерпеливо заворачиваясь в белоснежную простынь, с придыханием заговорил:

– Я же какой гостинец тебе привёз! От абаканского воеводы Римского-Корсакова. – Он бросился к своему дорожному саквояжу, вытащил холщёвый свёрток, отодвинул в сторону бочонок с квасом, осторожно развернул холст и хлопнул ладонью. – Вот! Глянь-ка, это наш Хангорай, где, даст бог, и будет учреждён Ирбинский завод. Ну как?

Татищев, разглядывая холст навроде карты с нарисованными идолами, задумчиво спросил:

– Что за языки там проживают? Я ведь дале Урала в тех местах не бывал.

– Мы их зовём чудями, а оне себя хооряами кличут. И вправду чудный народец: живут в войлочных круглых избах, хлеба не сеют, животину разводят, навроде башкыр. А князья их, как магометяне, несколько жёнок имеют. Один их князёк, по прозвищу Курага, мне затейную вещицу преподнёс. Хочу её своей супруге любезной подарить, – Арцыбашев снова нырнул рукой в карман саквояжа и вытащил серебряные серьги с коралловыми бусинами, двуглавыми рублёвиками и алыми шёлковыми кисточками. Каждая из серёг соединялась фигурной тоненькой цепочкой. Всё это сверкало и переливалось ювелирной ремесленной красотой и магией непонятных знаков.

– Затейливая диковинка, – невольно залюбовался Татищев. – А ежели и впредь такие куртиозные вещи у вас будут найдены, то отправляй их сразу в Академию наук. А коли там награждение дать не изволят, то я денег своих не пожалею.

И тут советник просветлел взором и затаённо усмехнулся:

[1] Полушка – полкопейки.

[2] Потайная подкладка дороже кафтана – от обычая зашивать деньги в подклад.

– Похоже, и мои мозги русская баня ладно пропарила! Вот что, сударик, задержись-ка ты у меня на некое время. Прожитьё определю в боковушке. А завтра я сызнова толкнусь к государыне с указом. Спыток не убыток. Авось отбудешь до рудника с подписанной бумагой? – и крикнул денщику: – Афоня, примай гостя на второй заход! А то и ночь уйдёт, сон уведёт…

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ЦАРСКИЕ ПОКОИ

В эту же ночь в царской опочивальне было душно и чадно от обилия коптящих светильников и жарко натопленных печей. Истеплились восковые свечи у золочёного резного киота с иконой Иверской Божией Матери. На стене отсыревшие парсуны-портреты матушки Прасковьи и царя-батюшки Ивана пялились малёванными очами в затуманенные стенные зеркала. А их дщерь, тучная Анна Иоанновна, возлежала на широкой кровати под вишнёвым балдахином. Рядом на паркетном полу прикорнули утомлённые шуты, горбуньи, уродливые карлицы и ветхие старухи-приживалки. Угомонилась и мартышка, привязанная к ножке стола. Весь день она потешала царицу и дворцовую челядь: задирала гладкий серый хвост над мерзким задом и гнусно чесала срамные места. Наконец-то охрип и упрятал голову под крыло горластый белый павлин. Порфироносица дремала. Девка Дарья Долгая на сон грядущий старательно чесала ей жёлтые шершавые пятки, а фрейлина Аграфена Щербатова забавляла государыню очередной похабной сказкой:

– Издревне в одной деревне жили муж да жена. Жили они весело, согласно, любовно. Но мужик был хлибый, а жонка – кровь с молоком! А блудлива, не дай боже! За чёрта отдай её, и того уходит. Вот и заездила, ухайдакала мужа. Не сдюжил мужик, помер. Бедная баба горевала безутешно, и день ото дня ей всё пуще становилось невмочь. Вдовье дело горькое, сиротское. Тогда пошла она на погост, обняла крест и возопила: «Лежишь себе умруном[1], а кто меня ласкать-голубить будет? По чужим дворам просить зазорно, злые бабы за космы оттаскают. Приходи же, друг сердечный, да люби меня, аки живой!»

– Айлюшеньки-и! – ахнула, испуганно всплеснула сухими ладошками карлица и торопливо закрестилась на образа. – Спаси Христос, чё деется? Рази можно упокойников тревожить, да по такой надобности? Беспременно жди беды.

– Ну зашамкала, дура! – одёрнул свысока Тимофей Архипович, сумасбродный подьячий с продувной рожей в алой атласной рубахе навыпуск и серых растоптанных валенках. – Балясничаешь без понятия вздор всякий. У худого мужа баба и та по блудням затаскана, а тут и вовсе вдовица. А вдовица не девица. Своя нужа! Нет её хужа! – и блудливо заподмаргивал слезящимся глазом императрице, хотя дворцовые суеверцы его за святого пророка почитали и лапы волосатые почтительно лобызали.

А дурковатый шут Михайло Голицын перекувырнулся через голову, по-петушьи захлопал крыльями-руками, глумливо заблажил:

– Ку-ка-ре-ку-у! Встану рано поутру, найду куру по нутру да с пригожим личиком, чтоб снесла яичико. Ку-ка-ре-ку-у!

– Вдовье дело терпеть, чтобы сраму не иметь, – пискнула карлица.

Анна Иоанновна шумно высморкалась в розовый с шёлковыми кистями атласник[2], пнула в горб толстой ногой старуху и грозно приказала:

– Никшни, дура! Заверещала! А ты, Аграфёна, чаво ополоротила? Дале балакай.

– Так вот, с вечера в избе баба улеглась на палати, да не спится ей. Телеса словно огнём жжёт. В полночь – стук в дверь. Встала баба, отворила, а там мужик ейный. Стоит как вкопанный. Бле-е-едный, в саван обёрнутый, с гробовой доской под мышкой. Она, дура, и рада-радёхонька! Отбросил он крышку гробовую – и в избу. Повалил бабу на пол, задрал подол и любился с ней до красной зари, а как запел первый петух и осветилась изба, встал упокойник и, ни единого слова не говоря, ушёл. Жонка ажно омертвела и тут же отдала богу душу, – и фрейлина угодливо захихикала.

– То не мужик ейный был, а беспременно чёрт! – не унимался, крестясь, провидец. – Надо было оборониться от нечистика.

– Одна баба, сказывают, спаслась, когда упокойник к ней повадился по ночам ходить, – вставила Дарья Долгая, скобля длинным ногтём огрубевшую кожу на пятке царствующей вдовицы.

– Как же это? – округлила робкие глазёнки карлица.

– Чахнуть стала, ей добры люди возьми и подскажи, чтоб начертала она святые кресты на окнах и дверях. Пришёл муж-покойник, походил-

[1] Умрун – покойник.

[2] Атласник – носовой платок.

походил вокруг избы: «Нет мне ходу. Видать, я, горемычный, не люб боле супруге». Заплакал и побрёл обратно в могилку. И боле не приходил.

– Вон! – дёрнула царственной ножкой Анна Иоанновна, не открывая глаз. Все затихли, переглядываясь в непонимании. – Пошли вон! – вскинула она руками царица и брызнула гневом царственных очей.

Вмиг заколыхалась телесами, зашуршала юбками, зашоркала бархатными туфлями вся приблудная челядь. А вдовствующая императрица, озлившись на последние слова Дарьи, вновь впала в дрёму, но заснуть долго не могла, вспоминала своего покойничка – Курляндского герцога Фридриха-Вильгельма…

Суровый дядька Пётр Великий выдал за него замуж семнадцатилетнюю племянницу из политичного интереса. Дебошир и забулдыга Фридрих-Вильгельм от беспросыпного запоя, учинённого на радостях, окочурился всего-то за пару супружеских месяцев. Потому и дивилась в дремоте царица: «Почитай двадцать годков минуло, и думки-то про него давно из головы выкинула, а поди ж ты, явился!» И уже в глубоком тревожном сне видит она: сидит будто бы герцог за богато накрытым столом, можжевеловую водку без меры хлещет, гостей потчует, Анну свою в уста целует. На перст ей кольцо обручальное напяливает. А она, молода девица, почему-то одета в чёрное свадебное платье и прячет лицо под траурной кружевной вуалью. Берёт Фридрих-Вильгельм обрученницу за пухлую рученьку и торопливо ведёт в опочивальню. Глянула она, а брачное ложе сырой землицей присыпано. Вскрикнула молодая и отпрянула от мужа. Осерчал супруг, ногой топнул, очами засверкал и на стекле зерцала перстом кроваво начертал: «На сём месте погребено тело рабы Божия Анны Иоанновны сего 1740 года, октября 17 дня, всего жития ей было 47 лет». Погрозил кулаком и растворился в сиянии зеркала.

В холодном поту проснулась монархиня, долго возлежала в постели недвижима, с мятым желчным лицом. Дворцовая челядь замерла, попряталась по углам: царица в дурном расположении духа. А когда соизволила встать с пышного ложа, то немытая, не чёсанная, в мрачном раздумье пошла шагать взад и вперёд по комнате. Тут-то ей под ноги и подвернулась карлица-хромоножка. Убогая несла пустое серебряное ведёрце, ибо её усердная дворцовая служба состояла в том, чтобы подтирать бархоткой капли, которыми павлин щедро усеивал дубовый мозаичный паркет. Анна Иоанновна внезапно остановилась и трижды сплюнула через плечо: «Тьфу! Тьфу! Тьфу! Плохая примета!». В гневе надавала оплеух дурнушке, оттаскала за жидкие волосёнки и наткнулась взглядом на провидца.

Отбросила в сторону сопливую карлицу, прищурилась и поманила державным пальцем перепуганного вусмерть подьячего:

– Поди-ка сюды, ряса волосатая. Чай, недаром хлеб мой жрёшь? Покойник-супруг привиделся, шибко грозен был. Отглаголь мне, Тимофей Архипович, к чему сон сей ужасный?

– К худу, матушка, к худу! Знать, шибко заскучал по тебе упокойничек, – закатил глаза и запророчил Архипыч. – Ну я беду-то неминучую отведу. Просунь, матушка, левую ножку через порог в приоткрытую дверь, перекрестись и скажи: «Куда ночь, туда и сон. Как не стоит срубленное дерево на пне, так и не стал и сон по правде».

Пасмурная царица суеверно повторила, отыграла левой ножкой на пороге, отчего несколько развеселилась и принялась за утренний туалет, не отпуская от себя подьячего.

– Чего примолк? Поведай, как с покойником управляться будешь? Одним шепотком от судьбы не отпрыгнешь, – она с опаской глянула в зеркало, но увидев только своё отражение, с придыханием открыла любимый ларец.

Подьячий, увидев сияние, идущее из нутра изящной вещицы, оторопел и онемел на время, ибо впервые был допущен на ритуал, благоговейный для любой женщины, но для Анны Иоанновны – невероятно сакральный и гипнотический. Нарочито долго, с мягкой улыбкой и любовным блеском в глазах она пропускала сквозь короткие пальцы драгоценные цепочки, нанизывала золотые перстни, прикладывала к пористой, умащённой терпкими жирными благовониями коже перламутровые нити крупных жемчугов и, наконец, примеривала ослепительную корону венценосицы в искромётной россыпи алмазов. Магия драгоценностей, как ничто другое, поднимала настроение и вселяла дух державной властительницы в каждую пору грузного тела, а особо – в надменный взгляд крошечных глаз, сродни холодным бриллиантам.

– А ещё пожертвуй энту вещицу, – отошёл от заморока подьячий, понял, что снизошла и до него минута счастья, ткнул заскорузлым пальцем в брошь с дорогими каменьями. – Не пожалкуй, матушка! А я её ныне в полночь снесу на

погост, зарою в сыру землицу. Столкуюсь с мертвяками, штоб уломали мужа твово, чтоб не пужал тя. Накажу им, штоб передали упокойничку: «Не ходи до жонки, срок придёт – она сама к тебе придёт».

Он суетливо обежал царицу с другой стороны и прошептал заискивающе сухими дрожащими губами: – Да червончиков отсыпь откупиться, а то уволокёт допрежь времени в могилку-то. Всё сварганю как надоть, – поднял длинный палец, повернулся к образам. – Далече я зрю! Така сила мне Господом дадена! – перекрестился и снова юлой к царице. – Аль сумлеваешься? Небось, помнишь, до того, как ты императрицей учинилась, я тебе корону провещал?

Анна Иоанновна поколебалась, но отдала знатную драгоценность и щедро отсыпала рублёвики в алчно протянутые ладони. Шут Михайло Голицын, сидевший тихонько в ногах императрицы, вдруг взвился с пола, закривлялся, вспрыгнул на плечи подьячего, задрыгал ногами.

– Кудах-тах-тах! Севодня праздник, жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет: «На тебе, муженёк, сладкий пирожок, с лучком, с мачком, с перечком!» А потом скинулся с подьячего, встал столбом перед зеркальным отражением царской особы, прояснел взором и вполне разумно тому отражению глухо изрёк: «Полно тебе, государыня, в забобоны[1] мохнорылого верить. Царско ли дело у судьбы на потычках быть? Ишь как без чуру[2] прощелыгам сыплешь деньгой. Целый бурум[3] без счёта отвалила. Казна государева, чай, не безмерна».

Царица обомлела, узнав загробный голос мужа. А может, почудилось…

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. В ТРОННОМ ЗАЛЕ ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

И только к обеду вышла Анна Иоанновна в тронный зал принимать министров, которые с утра маялись в соседних апартаментах, дожидаясь высочайшей аудиенции. И снова в её окружении горло драл павлин, прыгала по полу вертлявая обезьяна, прислонившись к трону дремал многомудрый шут и совал для поцелуя волосатую лапу под нос вельможам провидец Тимофей Архипович. Без них никуды. Вот и теперь они скрашивали царице зевотную скуку сидения за бумагами, которые подавали ей иностранцы-министры, а она, не глядя и не читая, равнодушно подписывала их.

Но мельком увидев, что в дверях появился тайный советник Татищев, повела недобро бровью и нахмурилась. Тот сразу заметил недовольство государыни и дипломатично перевёл свой взгляд на прикорнувшего у трона шута, обнимавшего бочонок кваса. Пожалел втайне «князюшку»: «Горькая ирония рока! До чего же уничижён потомок знатного рода! Дед его Василий, галант[4] царицы Софьи, при троне почётно сиживал, а внук полы штанами протирает в шутовском наряде! Ещё и службой лакейской обременён – обносить гостей русским квасом. За то и прозвали Квасником. Как тут умом не тронуться?»

Василий Никитич бережно обошёл блаженного, а протянутую встречь лапу Архипыча брезгливо оттолкнул. Зато, хотя и с трудом, но прогнулся в нижайшем поклоне царице. Застарелый утин[5] мешал раболепствовать внагиб. Стерпел и, опахнув помазанницу буклями пудреного парика, умильно облобызал смуглую короткопалую длань.

Царица, не умаляя строгости, спросила:

– Опять, Василь Никитич, пришёл суемудрыми прожектами нудить меня? С чем на этот раз пожаловал?

– Я экстактно[6], государыня-матушка. Приложи царственную ручку, подпиши указ о строительстве казённого Ирбинского железоделательного завода в Сибири. От него большой прибыток казне будет, ибо великое сокровище на счастье Вашего Величества там открылося. По расчётам завод может давать до двухсот тыщ пудиков железа. Дай, матушка, на учреждение двадцать пять тыщ рубликов, – и, увидев, как помрачнел взгляд императрицы, зачастил, улещая: – Пусть даже и не вдруг, а хотя бы частями. Лет через пять и даже ближе траты с лихвой окупятся. Сама посуди: на добычу пуда железа потратим двадцать копеек, а продадим пудик – за сорок. Казне – прибыток! И имя Вашего Величества в бессмертность войдёт.

– Что за предерзкая докука, Василь Никитич! Мало ль нам других заводов и Благодатного рудника? – не сдавалась правительница. – Да на кой ляд така прорва железа? Ишь чего умыслил! Казну государеву впуливать на свои химеры! –

[1] Забобоны – суеверия, предрассудки.
[2] Без чуру – без меры.
[3] Бурум – очень много.
[4] Галант – возлюбленный.
[5] Утин – радикулит.
[6] Экстактно – по делу.

она сердито топнула ногой. – Железных заводов вновь до моего указа строить не велеть! – и отмахнулась от советника, как от надоедливой мухи. – Да и што ты, Никитич, взялся через голову-то всё скакать? Покажь сию бумагу Берг-директору Шомбергу. А ещё лучше б ты озаботился изысканием дорогих каменьев для императорских особ. Обмыслите с ним это дело, – и милостиво добавила: – Впрочем, как-нибудь ввечеру в День придворных прибудь во дворец на ассамблею. Я велю тебя в списки внести, – отодвинула бумаги и повелела закладывать карету.

Татищев усмехнулся про себя: «Небось, в «домок», к мил-дружку графу Эрнсту Иоганну Бирону. Баба она и есть баба. Волос долог, а ума с гулькин нос!» Да делать нечего – нижайше откланялся государыне.

Квасник приоткрыл мутные глазки и скорбно ухмыльнулся. Гнусный Архипыч злобно проскрипел в спину: «Попомни вещубу мою, гордыбака. Руды много накопашь, да в руде и тебя закопают!»

Так, несолоно хлебавши, Татищев вернулся домой. На вопросительный взгляд Арцыбашева только руками развёл:

– Нужна ей такая заморока! Она и старые казённые заводы готова разбазарить! Любому прощелыге запродаст ни за понюх табаку. У ей же на уме только цацки да Бирошка. А его надо крепенько обмыслить, чтобы немчин дело на корню не загубил либо под себя завод не подгрёб. Ничего, Егор Михайлович, лиха беда начало! Найдём ключик и к навозной куче…

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. НА СЕННОЙ ПЛОЩАДИ НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

На другой день Татищев и Арцыбашев, озаботившись покупкой корма для заводских каурок, с утра засобирались на рынок.

Афанасий растопырил крестом руки на пороге:

– Куды-ы! Не успел чуток одыбаться, а ужо и ноги в руки. На дворе сиверко дует, а он выффарился гоголем. Покуда не напялишь овчинный тулуп, пимы да лисий бурк[1], за порог, убей бог, не пущу!

Арцыбашев поддержал старика:

– И впрямь, Никитич, утеплился бы ты, а то вовсе пластом сляжешь.

Татищев скрипнул зубами, но денщику покорился. И вскоре господа направились на Сенную площадь, где окрестные крестьяне возами торговали сеном, соломой и дровами. Пока горный инженер рядился с толстощёким мужиком насчёт овса, Татищев отошёл в сторонку прицениться к дровам. А когда обернулся, глаза выпучил. Заводской управитель торговался с неуступчивым крестьянином за каждую полушку, а его кошель с лёгкой руки ухаря в шубном кафтане незаметно выскользнул наружу. Хлыщ беззастенчиво запустил гибкие персты в карман ещё раз и вынул позолоченную табакерку. Похваляясь умением перед стоящим рядом с ним щуплым лупоглазым мальцом, достал из краденой коробочки щёпоть душистого табачку, нюхнул и засунул вещицу обратно в карман раззяве Арцыбашеву. Стрельнул глазами сопливому подельнику на растопыренный карман: мол, спробуй.

«Вот оно что. Обучатель воровской академии сорочёнка муштрует», – смекнул тайный советник, вмиг метнулся – и хвать одной рукой за ухо мальца, запустившего руку в арцыбашевский карман, а другой вцепился в рукав пестуна-мошенника. Только разинул рот, чтобы «слово и дело государево» гаркнуть, как гибкий мазурик ужом извернулся и, аки дым, в толпе бесследно растворился. А малец заревел и стал сопли и слёзы по замурзанным щекам жалостливо размазывать: «Отпусти-и-и, дядька, Христом богом прошу! Я больше не бу-у-у…»

Арцыбашев потерянно щарил ладонями по карманам: «Кошель скраден. Как же я без деньги теперь буду?»

– Ах ты, шушара базарная! Побрыкайся мне, – Татищев больно ухватил мальца за руку. – Чей, сукин сын, будешь? Да не смей врать, а не то в Сыскной приказ сволоку, там тебя живо на дыбу вздёрнут.

– Ва-а-нька я. Сын подьячего, – занудливо выл чумазый воришка.

– Ишь ты, Алёша бесконвойный[2]! Нешто родитель тебя определил в чужих карманах шевелить? – упорствовал тайный советник, немилосердно выкручивая ухо сопляку.

А тот сучил ногами от боли:

– А-а-а! Не-а-а-а! Он отдал мя учить словесности к пономарю.

– Так почто, бельмес, к добрым наукам старанье не проявляешь, а воруешь?

[1] Бурк – мужской головной убор из меха лисицы, круглый, с небольшим околышем, плотно облегавший голову, без ушей.

[2] Алёша бесконвойный – своевольный человек

– А-а-а! Не хочу учица-а! Пономарь больно розгами лупит!

– Пузыри не пущай и не канючь, козюля зелёная, а говори, коль с ворами спознался, что за мошенник кошель скрал? Иначе к родителю свезём, он те сам разума в задние ворота влупит.

– А-а-а! Не возите к тятьке. Истинный бог, всё без утайки поведаю. Кошель ваш зихорник[1] Васька Жужла вынул.

– А где достать его можно? – Татищев от души треснул по вихрастому затылку.

– Ведаю, ведаю, дяденька! – ещё громче взвыл малой. – Ён хибару снимает в Волчьей балке, у побирушки-становщика[2] Дениса Криворота.

– Ну, Егор Михалыч, поедем кошель твой добывать, – советник изо всех сил за шиворот тряхнул скрадчика и зашвырнул в возок: – Залезай, вошь загашная, дорогу будешь указывать.

– Может, стражей с собой возьмём? Не то, глядишь, по черепушке кистенём приголубят, – усомнился Арцыбашев и осведомился у воришки: – Один Жужла там живёт али ещё с татями-компанейщиками?

– Ади-ин. Ён в одиночку работает. К ему тока Марфа Худодырая по блудному делу ходит.

– Что за баба? Сей час мы застанем её? – строго вопросил тайный советник.

– Не-а, ёна севодни на рынке скраденными платками торгует.

– Ну тогда сами управимся, – рыкнул Татищев, мотнул головой горному офицеру, чтобы тот садился, а вознице крикнул. – Гони к Волчьей балке!

Сел, кряхтя, сам в возок и в своей манере добавил: «К волчаре в гости – поиграть в кости»…

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ВОРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ

На выезде из города Ванька ткнул пальцем в убогонький домок с ветхими распашными воротцами и с окнами, затянутыми брюшиной.

– Тока я с вами, дяденьки, не пойду. Васька кишки мне враз выпустит. Побожитесь и не выдайте, што я был приводцем[3] на скраденное.

– Ладно, вали отсюда, да с татьбой завязывай, а то кончишь живот на каторге, – проворчал Татищев, налаживая мелкого крадуна тяжёлой тростью под зад.

Сами тайно подошли к избе, пинком шибанули дверь. Как увидел «гостей» Васька Жужла, сразу узнал, сорвался с места и за тесак ухватился.

Арцыбашев не растерялся, вздыбился шатуном, треснул худосочного хлыща кулачищем по башке и навалился на вражину:

– Верни, злыдень, кошель немедля! Шею сверну, как курёнку!

Потрепыхался под ним ухарь, повзбрыкивался и сдался:

– Ваша взяла. Слезь, ведмедь, с мя, задавишь.

Вынул нехотя кошель из-за пазухи, с пренебрежением швырнул под ноги.

– Ты ещё, шельмец, возгудаешь[4]? – прищурился на него Татищев. – А в застенок пытошный не желаешь?

Молодчик враз сник. Его бритое смуглое лицо посерело, как землицей подёрнулось. Бойкий карий глаз помертвел, а рыжие вьюшки на буйной головушке будто сами распрямились от унылости.

Взмолился мошенник:

– Не губите, господа хорошие, я ж всё сполна возвернул. Явите милосердие.

– Так сегодня не прощёно воскресенье. Зачем татьбой душу губишь? – сурово вопрошал его Татищев.

– Не тать я, – жалостливо затянул ухарь. – За што меня в каменный мешок? Я ж просто зихорник. С того и кормлюсь. Играть силком никого не приневоливаю. А ваш кошель случайно скрал. Как не взять, коли карман на пол-аршина оттопырен?

– А что? Зело сведущ в карточной игре? – зацепился вдруг тайный советник, любивший на досуге побаловаться картишками.

– Искусней мя в игре зернью[5] и в карты разве токмо Ванька Каин, – оживился тот, чуя слабину в угрозах господ.

– Хвастливое слово гнило. А ну-ка покажь, на что горазд!

– Лады. Тогда пяльтесь вовсеглазье.

Васька поднял подбородок и с чувством собственного превосходства сел на лавку за дощатый стол. Веером развернулись затрёпанные карты в гибких с серебряным перстнем пальцах франта, неуловимо замелькали разные масти, скороговоркой посыпалась шулерская речь:

---

[1] Зихорник – картёжник.

[2] Становщик – укрыватель преступников.

[3] Приводец – человек, донесший о преступлении и лично приведший преступника властям.

[4] Возгудать – возмущаться.

[5] Зернь – азартная игра в небольшие косточки с белой и чёрной сторонами, а также именование самих косточек.

– Вот щас я растасую ахтари[1] тако, што вся «семья Блиновых окажется у мя в гостях»[2]. А щас «запущу трещотку»[3], и все «гадалки»[4] лягут в том порядке, каков расклад мне нужон. А теперь возьмите во внимание! Сейчас я так передёрну ахтарь, што Ванёк[5] даже не чухнётся.

Немало удивив господ своими манипуляциями, Васька победно отбарабанил ладонями по столу и по груди:

– На прикуп надейся, а сам не плошай! – сквозь гнилозубую пасть цыркнул плевком на грязный пол, – да рази без хабара[6] игра в интерес?

Гости переглянулись, шустро скинули одёжки, и пошла писать губерния. Зихорник ловко завлёк игроков лживыми затравками, зажёг ретивое, и очень скоро господа проигрались вдрызг. А Васька не унимался: «Не проиграв, не выиграешь!» И всё подначивал: «Карта не лошадь, к утру повезёт!» Опамятовались только тогда, когда денёк к закату начал клониться и денег осталось на понюшку табаку и маленький возок сена. И тут Татищева словно озарило: «У Бирошки есть две ахиллесовы пяты: породистые скакуны да карты. Курляндец зело азартен. Душу на кон поставит за ломбером. Вот здесь-то и надо ловить удачу за хвост».

Смекнул советник свой шанс и предложил шулеру сделку:

– Шабаш! Выучишь меня искусно шельмовать в карты, а я спущу тебе все вины и даже деньгу проигрышную оставлю. С утра и начнём. А будешь от сего дела предерзко отлынивать или вздумаешь утечь куда, в сыск подам, – закончил, сбираясь, Татищев и пригрозил тростью. – А языком об сём колоколить будешь, враз укорочу! Потайное словцо крепко держи за щекой, коли тебе смерть не копейка, – и уже на пороге подтвердил ещё раз: – Сослужишь мне службу усердно – глядишь, и отпущу душу на покаяние.

Шулер согласно кивал и кланялся, кивал и кланялся. Ещё бы! Такая везуха!

– Невдомёк мне, зачем тебе мошенство это надобно, Никитич? Дай хоть намётку, – любопытничал Егор Михайлович по обратной дороге на Сенную площадь. Но Татищев помалкивал и загадочно ухмылялся.

Горный инженер не унимался:

– А ежели и в самом деле где языком станет брякать? Разве есть на татя надёжа?

Татищев пожал плечами и стукнул тростью оземь:

– Тогда аминь всему делу! Даст Бог, не успеет, я уж об том озабочусь.

Сенца оголодавшим коняшкам они всё-таки успели прикупить и, довольные, поехали домой.

С тех пор советник и зачастил к Волчьей балке на выучку к плуту так же усердно, как и на государеву службу.

Однажды, когда Татищев поутру поехал к зихорнику и без стука распахнул дверь, то застал его на горячем блудном деле с толстомясой полюбовницей Марфой Худодырой. Васька второпях соскочил с лавки, а бабёнка без смущения оправила подол и накинула сорочку на сдобные в багровых рубцах плечи, игриво вильнула пышными бёдрами и озорно подмигнула неурочному гостю.

Татищев, отворотясь и загораживаясь поднятым воротником, брезгливо сквозь зубы процедил:

– Почто не запираешься, коли с бабой валандаешься?

– Мы, чай, люди живые, а к пустой избе ни замка, ни крючка не надоть,– огрызнулся Васька.

– Гони срамницу вон. Вижу, твоя курва не раз бита кнутом за блудное дело?

Зихорник скабрезно выскалился.

– Не та курва, что кнутом бита, а та, что короной прикрыта, – и ласково стал выпроваживать сожительницу, – Ты покудова иди, Марфа, да приходи снова ввечеру, – и понизил голос до жаркого шёпота: – Я щас у барина полушки стрясу и те на харчишки отсыплю. Да на продажу с чёрной работы[7] камзол зелёный гарнитуровый заберёшь.

Никитич язык прикусил и молчком посторонился, пропуская мимо себя разбитную бабёнку, припомнив, что и сам не свят: по телесной надобности часто захаживал к немке Дрезденше в увеселительное заведение, что на Вознесенской.

– Ну что? – толкнул тростью шмотки со стола тайный советник. – По уговору учиняй, Васька, экзаменацию. Время поджимает.

[1] Ахтари – игральные карты.

[2] «Семья Блиновых окажется у мя в гостях» – четыре туза окажутся в одной руке.

[3] Запустить трещотку – приём, при котором создаётся впечатление тасования карт, но карты при этом остаются в том же порядке, что и раньше.

[4] Гадалки – карты.

[5] Ванёк – наивная жертва шулера.

[6] Хабар – барыш.

[7] Чёрная работа – кража.

Раскинули картишки. Начал Татищев уменье своё показывать. Жужла только головой качает, ворчит, поучая:

– Зихорник из тя никудышный, неспособный ты. Учил я тя усердно, а толку мало. Не руки, а крюки. Баламутишь[1] ты не искусно, засылаешь пакет[2] худо. Одно тебе сносно удаётся – вздержка[3]. Быть те дергачом[4]. Да подшей подкладных карманов в обшлага и в изнанку сюртука и тягай оттудова нужные ахтари, – увидев, как советник кладёт не ту карту, панибратски постучал костяшками по столу, а потом по лбу, – вот ты умный дядя, а дурак! Крепко держи в памяти свои и чужие карты, чтоб два одинаковых козыря враз не выложить. С нашим же братом даже и не вздумай тягаться, махом бубенцами прозвенишь[5], а вот среди господ фофана надуешь[6], – Жужла в сердцах бросил карты и резко встал с лавки. – С тем мы и расстанемся, господин хороший. Чего зазря время трусить? С пустым шишом жить нагишом…

Сказал – как в узел завязал. А как сделал вывод, указал на выход.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ПОДМЁТНОЕ ПИСЬМО

В тот же день в тайную канцелярию розыскных дел подкинули подмётное письмо. Анонимщик постарался на славу, подробно и красочно описывая неслыханные деяния петербургского мошенника.

«В начале, аки Всемогущему богу, так и Вашему Императорскому Величеству я отважу себя донесть, что зихорник Васька Жужла, забыв страх божий, впал в немалое погрешение. Будучи в Петербурге и протчих городах, в многих прошедших годех мошенствовал денно и ночно в церквах и разных местах. У господ, приказных людей, купцов и всякого звания людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и протчее вынимывал. А пустые кошели, кои были покрадены с деньгами, бросал по дороге, дабы не было на него по тому кошелю прилики[7].

А ещё на тя, Всемилостивая государыня, непригожие предерзостные враки пущал, что настоящий Ваш отец немец-учитель и Вы не природна и незаконна государыня. И матерно лаялся: «Бабье ль дело великое государство содержать и корону иметь. Владеет государством баба, а ничего в этом не смыслит». И окаянно сквернословил, что роды царские неистовые, а царица – блудница. Граф же Бирон в милости у государыни, потому что в грехе блудном с ней телесно живёт. А на здоровье благородной персоны Бирона учал он мыслить злое дело, навести порчу на нево вредительными словами. И третьего дня жабу в ступе крошил и шептал при этом страшенное: чтобы блудный уд знатной персоны бородавками покрылся да струпьями отвратительными каждый раз, как токо Бирон изволит приблизиться к Вам. А тем самым и Вас испортить, и нанести осквернение души Вашего Величества. «Даст бог, – глаголил он, – долго царица жить не будет. За таку государыню я не молюся и смерти ея желаю». А скрывается злодей Васька Жужла в окраинном, на особицу, дому у Волчьей балки.

С тем кланяюсь. Ваш добропорядочный нижайший раб».

В глухую полночь к Волчьей балке подкатили на извозчике гарнизонный офицер из тайной канцелярии и три солдата. Взяли Ваську Жужлу тихо, быстро, без помех, сразу же заковали в ручные и ножные железа и повезли в крытом возке на Заячий остров в Петропавловскую крепость, в самую страшную тюрьму в Алексеевском равелине[8]. Там сдали под расписку чиновнику тайной канцелярии, а потом зашвырнули молодца в вонькое сырое узилище, в колодничью палату[9], где заплечных дел мастер и учинил ему взыск[10] со всем пристрастием.

Сначала палач вздёрнул зихорника на дыбу, а потом между резвых ноженек продел и привязал бревно. Крякнул, вспрыгнул на то брёвнышко и давай с уханьем плясать да прыгать на нём. Заблажил Васька диким голосом, когда выскочили его руки из суставов и затрещали жилы ног. Тут припарили его горящим веником да обласкали кнутом. Обмяк ухарь, сдался и признал за собой все преступные деяния: и кражи, и слова непотребные о Бироне и Анне Иоанновне, и кол-

[1] Баламутить – раскладывать карты в определённом порядке.

[2] Заслать пакет – картёжный приём в игре, когда в колоду кладутся несколько карт, чтобы потом использовать их по своему усмотрению.

[3] Вздержка – подтасовка, передёргивание карт.

[4] Дергач – игрок, передёргивающий карты.

[5] Бубенцами прозвенеть – проиграться донага.

[6] Фофана надуть – обмануть в картёжной игре.

[7] Прилики – улики.

[8] Равелин – вспомогательное крепостное сооружение в форме треугольника с обращённой к противнику вершиной, расположенное перед основной крепостной оградой.

[9] Колодничья палата – камера.

[10] Взыск – спрос.

довство злоумышленное. Догадался он, от кого письмецо подмётное прилетело, и горько покаялся: «Эх, язык болтливый, губитель мой! Надо было поперёд барина стукануть. Щас бы тот сам на дыбе болтался. Хотя…»

Собрался Васька с последними силами и прохрипел:

– Слово и дело государево. Не вели казнить, вели молвить.

Учтивый генерал-аншеф Ушаков, наблюдавший процедуру дознания, нежно взглянул в помутневшие карие глаза, бережно убрал со лба мученика потные вьюшки, со вниманием приклонил к нему хрящеватое ухо:

– Отглаголь.

– Ездил ко мне барин знатный мошенству обучаца.

– Кто таков? Зачем сие ему надобно?

– Зачем, не ведаю. Именем не прозывался. Но в лицо ево спознаю.

Поверил генерал, проснулся в нём азарт охотника, вынюхивающего следы заговорщиков. Целыми днями возили зихорника по присутственным местам, но никого не признал Васька. Через неделю это катание его превосходительству изрядно прискучило, и, возвращаясь в крепость, он, тем не менее, ласково проворковал тюремному сидельцу:

– Ты, любезный мой, поди-ка «слово государево» взболтнул, чтобы времечко потянуть да казни неминучей избегнуть? – и тут же посуровел. – Тако же за бездельный сей извет[1] и за то, что желал тем воровским умыслом привесть постороннего к смертной казни, ждёт тебя «награда», – и, передавая арестанта на руки палачу, снова эдак благодушно, повелел: – Никитушка, залей-ка полное хлебало воды сему суетливому клиенту да медленно покопти на пытошном огне до полного его изумления.

Кивнул с одобрением и сделал на бумаге помету: «Письмо подлинное, к рассмотрению надлежит, сие письмо указано беречь». А наутро поехал с ним на доклад к царице. Анна Иоанновна, прочтя его, несказанно взъярилась, ногами бешено затопала, а затем своеручно начертала на документе: «Для пресечения непотребных и невоздержанных слов и поступков приказываю злодею вырвать ноздри, урезать и прожечь калёным железом язык, высечь батожьём беспощадно и сослать в Сибирь на каторжные работы навечно. Его превосходительству Андрею Ивановичу Ушакову за сим самолично проследить».

Так, по счастливой случайности, карающая рука «государева ока» миновала тайного советника Татищева. Ибо вместе с Арцыбашевым был он в это время в отлучке, ездил в Москву по другим неотложным делам, кои заботили обоих друзей. Как говорится, божья десница увела из столицы…

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ДЕНЬ ПРИДВОРНЫХ

На неделе Татищев попросил у Арцыбашева чудские серьги.

– Зачем? – изумился заводской управитель пристальному интересу Никитича к пустой бабьей украсе.

– Есть у меня задумка. А вещицу сию на время одолжи, я с неё сколок[2] мастеру закажу да каменьев драгоценных поболе велю прилепить, – загадочно ответствовал он и в тот же день увёз серьги.

Наконец, в воскресенье, в День придворных, тайный советник Татищев засобирался на ассамблею в царский дворец. С утра к нему пришёл золотых дел мастер, вернул серебряные серьги и предъявил выполненный заказ. Василий Никитич изумлённо охнул. Золотые, в затейливой вязи хонгорских узоров серьги, изобильно украшенные алмазами и изумрудными самоцветами, были воистину великолепны. Рядом с ними серебряные чудские украшения выглядели блёкло и как-то убогонько.

Никитич, не торгуясь, расплатился с мастером, сердечно похвалил искусную работу:

– Прелюбопытная вещица получилась! Впору только знатным особам нашивать, – и поболтал серьгой перед носом Егора Михалыча. – Вот на энту-то блестяшку и будем выманивать на свет божий «златорогое чудище» из чиновьего лабиринта. Кумекаешь?

Егор Михайлович, довольный тем, что не зря понадеялся на изворотливость ясного ума государева мужа, одобрительно закивал и с удивлением стал наблюдать дальнейшие действия хозяина дома. А тот, ничего не объясняя, направился в свои покои, по пути стребовав с денщика ножницы, нитки, иглу, отрез тёмной прочной ткани. Потом вытащил из шкафа суконный парадный кафтан и захлопнул перед носом обоих дверь опочивальни. Напрасно Афанасий бился в дверь, предлагая свою помощь. Ответа не было,

[1] Извет – донос.

[2] Сколок – копия.

и он разводил руками, злился, бурча под нос: «Ишь, баламут, щас ведь искулёмит дорого платье, а потом расходуйся на новый наряд».

А Татищев, своеручно пришив потайные карманы в борт и обшлага коричневого кафтана, аккуратно разложил в них по ранжиру карточные масти. Надел кафтан и попробовал каждую из карт незаметно, кончиками пальцев, вынуть наощупь из потаёнки. Получилось. Довольный собой, повертелся у зеркала, поднял назидательно палец и сказал своему отражению: «Не доверяй серьёзного дела другому, ежели хочешь, чтобы оно хорошо шло». Напялил на лысеющую голову пудреный парик, гордо поднял подбородок, рывком распахнул дверь и явился Афанасию и заинтересованному Арцыбашеву при полном парадном блеске серебряного шитья, шпаги на поясной портупее и медных пряжек на кожаных башмаках.

Горный инженер изобразил благоговейный поклон, а денщик увидел лишь новый повод для ворчания:

– Опять выфорсился!

Но советник воинственно покрутил перед дряблым носом денщика жилистым кулачишком:

– Никшни! Мне сегодня с его светлостью баталию вести нешуточную. Не на живот, а на смерть! – и хитро улыбнулся Арцыбашеву. – Или пан, или пропал! – перекрестился на образа и браво помаршировал к порогу.

А на Невской площади огненный театр уже давно собрал кучу народа. Зеваки ахали и охали, когда в стылое ночное небо, рассыпая ослепительные искры, с треском взмётывались кипучие «колонны» разноцветных фейерверков. На площади от Невы до театра в сверкающем «венке» лучились затейливые голубые светильники-«цветы», окаймлённые светом изумрудных ламп-«листьев». Слепила глаза ошеломлённым ротозеям изображённая свечными лампадами из ярко рубинового стекла царская корона. Отблеск её колеблющихся свечей кровавил постамент с вызолоченным вензелем государыни. В середине площади гордо, в человеческий рост высилась мраморная пирамида с серебряной табличкой и раболепной надписью: «Имя её вознесут народы». Украшалось это зрелище пятнадцатью тысячами свечных, масленых ламп и фонарей. От того рядом стоящая академия наук тоже ярко высвечивала своё каменное достоинство. Гвардейцы оцепили пламенное пространство площади, не допуская докучливых зрителей до царской огненной забавы. Издали же любоваться не возбранялось никому.

Кибитка тайного советника одиноко подкатила к Зимнему дворцу. Опоздав к началу ассамблеи, Татищев как мог торопливо взбежал вверх по дворцовой лестнице, сдерживая болезненную одышку ещё неокрепшего тела. Государыня уже изволила принять немало чужестранных особ, знатное шляхетство, майоров, бригадиров, полковников, подполковников и штатских высоких классов, в густо напудренных париках, с их жёнами и дщерями на выданье. Дамы в пышных муаровых и атласных платьях с глубокими декольте склонились в почтительном поклоне. Анна Иоанновна, шурша подолом платья из тугой лионской парчи, важно шествовала по залу рука об руку с Бироном. Не удостаивая никого личным вниманием, она небрежно совала в алчущие ладони золотые и серебряные жетоны, на одной стороне которых была отчеканена парсуна императрицы, а на другой – памятная надпись: «Благодать от Вышнего». Императрица нежно держалась за мясистую ладонь куртизана, изредка бросая на него ревнивый взгляд, а любострастный фаворит снисходительно кивал красивой породистой головой и ей, и окружающим царедворцам.

«М-да, отожрался, бугаина, на русских хлебах. Ишь от сыти бока заворотило. Небось, утруждается, каналья, токмо в государевой постели», – неприязненно подумал о нём Татищев и тут же оскалился в подобострастной улыбке, когда державная пара прошуршала мимо. Вслед царице заискивающе семенил провидец-подьячий. Он тащил за поводок упирающуюся обезьяну, брякал в жестяной колоколец и чревовещал:

– Дон! Дон! Ниже кланяйтесь! Идёт грозный царь Иван Васильевич! По супротивной голове палач скучает.

За ним, дурацки кривляясь, кувыркался и всё хлопал растопыренными крыльями-руками Квасник Михайло Голицын:

– Курочка-тараторочка по двору ходит, цыпляток выводит, хохолок раздувает, бояр привечает. Баре, баре – по грошу пара, поперешнику – кара. Петух курочку клюёт да под крылышко ведёт. Анна-банна, нога деревянна, шейка-копейка, голова алтын.

Гости при виде клоунской свиты склабились ухмылками от нарочного веселья, шушукались после и, наконец, были званы на торжественный обед. Татищев откровенно давился белужиной,

ибо аппетит ему портил безмятежный вид Андрея Ивановича Ушакова, которого он узрел как раз напротив себя. Его превосходительство услаждал своё чрево, смакуя анчоусы итальянские и устрицы флембургские. А у Татищева кусок поперёк горла встал: «Это надо же было именно сегодня подлюге приволочься на ассамблею!» И виделся ему в благожелательных очах генерал-аншефа зловещий отсвет пыточных углей.

А в это время в танцевальной зале грянули фанфары, возвещая о том, что начался бал. Гости неохотно оторвались от изысканных лакомств, лениво зашевелились, поднимаясь с кресел, и неспешно поползли следом за государыней. Татищев же выскочил из-за стола, как пробка из бутылки шампанского. Он вовсе не был охоч до танцевальных пируэтов, но поспешно юркнул в танцевальную залу, подальше от умильно-пытливых глаз Ушакова. Под расписными дворцовыми потолками одновременно чинился политес и церемонное выкаблучивание в минуэтах и полонезах. Послы иноземные жались в сторонке, ибо их по тёмной одежде принимали за лакеев. Неведомо им было, что Анна Иоанновна на своих придворных строжайший запрет наложила, чтоб не являлись во дворец в одеждах цвета печали. А Бирон и вовсе видел в чёрном цвете устрашающий знак грядущей смерти.

Помазанница на балу откровенно скучала. Да и понятно. Гренадёрский рост не позволял ей ветрено скакать в танцах, а тучная фигура быстро и сильно упревала от безостановочного верчения. И она по-хозяйски ходила взад и вперёд по длинному залу в сопровождении всё тех же убогих и уродцев.

Фаворит же удалился в соседнюю залу и уселся за карточный стол, ибо не мог иначе проводить время, как играя в карты, притом на большие куши. С ним укромно уединились барон фон Шомберг и уральский старец-заводчик Акинфий Демидов. К общему неудовольствию тёплой компании, к ней без приглашения подсел и тайный советник Татищев. Рядом деликатно отирался слухач Ушаков. Сам он играть не брался, считая карты бесовскими листами, но наблюдал за картёжниками с азартом. К тому же мотал на ус все разговоры и случайные реплики.

Раскинули карты в макао[1]. Бирон вытащил свою колоду. Василь Никитич, настороженно глянув в сторону генерал-аншефа, тоже выметнул свои карты. Игра началась. Банковал дворцовый любимец. Никто не смел возражать, ибо сановитый куртизан проигрывать не любил.

Бирон метнул карты понтёрам и как бы между прочим обронил:

– А что ты, Фасиль Никитич, недафно без федома директора Берг-коллегии к государыне с каким-то указом пристафал? – и враждебно набычился на назойливого прожектёра, поимевшего наглость выходить на императрицу без его посредничества.

Шомберг тут же заёрзал на стуле, строго насупился и выпятил бутончик розовых губ, выговаривая Татищеву:

– О, да! Что за манир, господин софетник, скакайт поверх голоф?

– Об чём хлопотал? – в свою очередь насторожился Демидов, всегда подозревавший Татищева в злом умысле против своей персоны.

– Да один указик просил подписать об учреждении заводика в Сибири, – отмахнулся Татищев.

– Шелезных зафодов итак достаточно. Зафодить, так серебряные, – недовольно бросил Бирон.

– Государству ноне, как никогда боле, надобны пушки и ядра, чтоб оборону от турка держать, – горячо возразил Татищев, сбрасывая десятки. – С вас прикуп, светлейший герцог, – польстил он Бирону, который совсем недавно грозой выбил из спесивых курляндских дворян сей лестный титул.

– А зело богат ли рудник? – присватался Демидов.

– Так, средней руки рудничок, – уклончиво ответил советник, дабы не привлекать внимание к Ирбинской руде.

– А стоит ли тогда тратиться на зафод, если на рутнике недостаточно руты? – поддакнул Бирону угодливый берг-директор и шустро перетасовал колоду.

– Барыш с накладом в одном кармане. Не потратишься – не окупится. Отечеству тако же нужны металлы и для внутренних надобностей, аки и для продажи за рубежи, – гнул своё Татищев и укорил вроде бы невзначай: – Уж тебе, барон, хорошо должно быть ведомо, сколь прибыльно торговать железом, – и ещё громче спросил язвительно: – А кто из-под носа у Шифнера и Вольфа перехватил контракт? Купцы платили за сибирское железо полновесно, по шестьдесят

[1] Макао – карточная игра, предназначенная для большого количества игроков.

копеек за пудик, а ты – по пятьдесят восемь. А за сколь продаёшь за рубежи? Поди-ка, много недоплаченных копеек засунул в свой карман? – и он шутя хлопнул сбоку по карману немецкого кафтана. – Не крохоборничай, господин Шомберг, а выкладывай русский рупь на кон.

– Пфуй! Пфуй! Плёхой привычка заглядывайт в чужой карман, считайт чужой теньга, – расфыркался раздражённый Шомберг, покосился на Ушакова, вьюном крутанулся на стуле и выпорхнул из-за стола амурничать с фрейлиной Аграфеной Александровной Щербатовой.

«Вот и выметнулась шестёрка из колоды, – ухмыльнуся тайный советник. – Теперь надобно скинуть «уральского короля». Пошла игра…

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПОБИТЫЙ КОРОЛЬ

– Мой туз и четфёрка! – обрадовался сиятельный куртизан, жадно загребая выигрыш и обеспечивая себе на время доброе расположение духа.

– Дык что? Подписала государыня указ о строительстве? – затаив дыхание, как можно равнодушнее осведомился у Татищева скаредный Демидов. Ну не выгоден ему даже захудалый казённый заводишко под боком.

– В том и бяда, что нет, – сокрушённо признался тот. – А ежели вдруг подпишет, где набрать рударей? Их у нас великая скуда. Одно остаётся: к заводам приписать ближайшие слободы и ослобонить крестьянина от платежа подушного. Пущай эти двенадцать гривен[1] вырабливают на заводской работе. А всё, что свыше подати, то выдавать на руки. Да сверх положенного крестьян не неволить, ибо работнички сии временны. А нужда в рударях зело велика.

Тут Бирон поднатужился и великоумно изрёк:

– Не фыгоднее ли перейти к фольному найму?

– А я вот всю работу произвожу токмо вольным наёмом и не знаю нужды в работной силе, – похвалился Акинфий Демидов.

– В Зауралье это не можно, – горячо возразил Татищев. – Сибирский мужик – эт вам не московит-лапотник. Живёт вольготно. Лаптей сроду не нашивал. И земелька сибирячку никем не меряна. Знай себе паши, покудова пуп от жадобы не затрещит. Хлебная скудность ему не ведома. Тайга же зверьём изобильна, в реке рыбы вдосталь. Сибиряк сыт, пьян и нос в табаке. Помещика над ним нет. Так что на казённые заводы в кабалу его и калачом не заманешь.

– Матушка-государыня, милостью своею великой повелела люд токма вольным наймом в заводы брать, – громко, дабы слышало ухо Ушакова, прошепелявил уральский старец. – А ты, Василь Никитич, всё на свою афёру[2] делаешь. Ослушничаешь и всех колодников отправляешь на каторгу в казённы заводы, – не без умысла подгадил Татищеву старый заводчик.

– А пущай воры-разбойнички незадарма по узилищам хлеб жуют, а пользу Отечеству приносят, – желчно отрезал советник, ибо к ссыльным ворам не испытывал никакого милосердия. И хитро прищурился на старца. – Однако же не я один царскому указу ослушник. А не у тебя ли, Акинфий, сто пятьдесят беглых рекрутов на заводе изыскали? А как же указ? Ты, поди-ка, от избытка работной силы топишь рударей, как слепых кутят? – съязвил Татищев, намекая на демидовскую незаконную чеканку монет из алтайского серебра. – Наедут досмотрщики, ты воды из озерца в мастерские напущаещь, и аминь беглому люду. Как уедет ревизия, воду откачаешь, мертвяков вынешь, заупокойную поп отпоёт, и делу амба. А ты свечу потолще поставишь, те поп грех смертный и отпустит. И внове ворота настежь для утеклецов.

– Всё мерзопакостная лжа и поклёп облыжный, – подскочил, как ужаленный, Акинфий и тревожно оглянулся на начальника тайной розыскной канцелярии. Но тот уже давно гулял среди придворных, чутко насторожив к светской беседе волосатые уши. Не сболтнёт ли кто хулительное словцо?

– С изветами ты боле моего наторел, Акинфий, – продолжал издеваться Никитич. И ещё громче, на всю залу припомнил: – Ведь ты ещё с шести тыщ штрафа, что на тебя Великим Петром был наложен за оболгание меня, двести рублёв мне так и не додал. Али запамятовал по старческой немощи?

Демидов отшвырнул от себя карты:

– Мне твою калмыцкую рожу и без тово видеть было невмочь. А тепереча и за одним столом сидеть мерзит. Тьфу ты! – злобно сплюнул и потащился в танцевальную залу заигрывать с фрейлинами.

Бирон сухо приказал советнику:

– Не суй нос, Фасиль Никитич, в дела демидофские.

[1] Гривна – денежная единица, которая использовалась в массовом монетном производстве до 1796 года включительно и была заменена 10 копейками при Павле I в 1797 году.

[2] На свою афёру – по-своему.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ДУЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ

Татищев спокойно проглотил совет, радуясь, что наконец-то остался с Бирошкой с глазу на глаз. Теперь его выход. Рыцарь случайного ломбера ни за что не упустит момент удачи. Он должен выиграть дуэль, чёрт возьми! В голове сразу промелькнуло Васькино завлекательное присловье: «Да рази без хабара игра в интерес?» И он вкрадчивым голосом змея-искусителя предложил:

– Ващ-щ-ш сиятельство, а не сыграть ли нам в ломбер на барышный интерес?

– Ф чём заключается парышный интерес? – пренебрежительно поднял брови иноземец и надменно оттопырил нижнюю губу.

Татищев выложил на стол из комзольного кармана заказные серьги, а рядом припасённый указ.

– Серьги сии против указа об учреждении Ирбинского завода. Я проиграю – отдаю чудскую диковину. А коли ты проиграешь – подмахнёшь у государыни сей документ. Только, чур! Карты на сей раз я мечу!

Тут к столу приблизилась Анна Иоанновна и остановилась в изумлении, завидев затейливую драгоценность. Огромные изумрудные каменья маняще сияли загадочным мягким светом. Россыпь мелких алмазов в золотой оправе незнакомого узорочья искрила и переливалась в свете лампад на лаковой поверхности игрального стола. Падкое на драгоценные украшения сорочье око царицы загорелось алчным блеском. Она нетерпеливо постучала воздушным веером по пухлой ладони и метнула на Бирона острый взгляд, намертво впитавший алмазный отсвет.

Царедворец глянул на неё и согласно кивнул. И царица сразу повеселела, распушила веер, гордо вскинула тройной подбородок и поплыла далее, даруя свою державную улыбку прочим подданным.

А в это время тайный советник, ловко растасовав карты в угодном ему порядке, украдкой передёрнул двойку на восьмёрку. Незаметно нащупал в потаённом кармашке недостающего туза. Но тот вдруг выскользнул из неловких пальцев под стол, упав недалеко от ног советника. «Эх, руки-крюки! Какая страшная оплошка-то вышла», – похолодел Татищев и попытался прикрыть подошвой злополучную карту. Мысли, как осиный рой, суматошно метались и жалили: «Нужен-нужен до зарезу этот козырь! Не токмо карьера, но и живот в сей момент болтается на тонюсенькой волосинке. Святые мученики! Сам Ушаков к столу подскочил! Сильна чуйка на палёное у начальника тайной канцелярии. Спаси, Господи!»

Никитич отвёл взгляд от Ушакова и вовсе помертвел, когда натолкнулся на злорадную ухмылочку подьячего вещуна. А вот и царица снова повернула свои пышные юбки к ломберному столику. Окаменел советник, аки степной хангарайский идол. Всё произошло мгновенно. Тимофей Архипыч, хищно растопырив пальцы, кинулся к карте, чтоб явить на свет татищенское жульство. Раздался душераздирающий визг. Это шут Михайло Квасник, вороном налетел на подьячего, яростным хорьком вцепился ногтями в елейную харю провидца. Повалил на пол и давай грызть, лягать, за волосья драть и валтузить гунявого мужика. Придворная знать в момент окружила драчунов, усматривая в сём не предписанное протоколом развлечение, и раболепно подхихикивала императрице, что гулко, как в бочку, хохотала под опахалом. Ох и любила она, когда её дураки и дурки собачатся и дерутся меж собой. То-то потеха!

Провидец еле отодрал от себя блаженного и, завывая и размазывая по рыхлым щекам кровавую юшку, что ручьём текла из расквашенного носа, подале отполз от взбесившегося шута. И про окаянную карту у каверзного пророка из памяти вышибло напрочь.

Квасник же закувыркался радостно и колобком покатился под игральный стол, бормоча себе под нос:

– Попалась мне бумажка-гвамотка. В ей писано-переписано после Ивана Денисова. Не поп писал – Ермошка, коротенька ножка: «Коль языцем ты речист, мастер пытошный плечист. Коль Бирошке ты убытошен, ждёт тебя застенок пытошный. Там в застенке угли жгут и на дыбе кости гнут. Жарким веником всех парят, батогами спинки гладят. Супостату плеть да кнут, гостенёчка ждут-пождут»…

Он украдкой подобрал обронённый заветный козырь, быстро сунул карту в вяло опущенную ладонь советника и присел на корточки рядом с креслом Бирона. Растерявшийся Василий Никитич встретился с таким проникновенным взором шута, точно дурень только что в разум вошёл и подначивает: «Ну же!». Татищев отдёрнул руку с картой, как из полымя вынул, и с размаху шлёпнул по столу козырем:

– Мой куш!

И торжествующе протянул Бирону указ на подпись. Тот скривился, но не падать же курляндскому герцогу перед придворной чернью лицом в грязь? Карточный долг – долг рыцарской чести. Тут и царица не выдержала, подошла нетерпеливо ещё раз взглянуть на запавшие в душу чудские диковинки.

Бирон хмуро подал ей бумагу:

– Анхен, унтершрайбен, битте!

Он и так не жаловал Татищева, а тут и вовсе люто возненавидел наглого русина. Царица хотела было выразить неудовольствие, но, заметив на лице фаворита гнев начинающейся грозы, торопливо, не утруждая себя чтением, подмахнула указ. Помнила, под горячую руку сердешный галант мог и прибить.

Татищев подобострастно прогнулся, преподнося императрице режущий игрой алмазов сибирский презент:

– Сия диковина из страны Хангории, где Ваше Величество завод железоделательный желает учредить.

Анна Иоанновна выразила Татищеву удовольствие за дорогой подарок и тут же украсила жирные мочки ушей затейливыми серьгами.

– Благодарствую, князь! – тихо шепнул Василий Никитич, проходя мимо шута, и слегка поклонился ему. – От застенков петропавловских, шутя, оборонил меня.

– Спаси тя Бог! Отчего ж не помочь? – грустно улыбнулся Квасник. – Али русское золото и в грязи не видать? От иноземцев же нам добра не ждать, – смигнул невольную слезу и приметил, как с насторожёнными ушами к ним на мягких кошачьих лапках подкрадывается ласковый Ушаков. Заколотился шут нарочно в дурацком причете: – Куда-ах, тах-тах! Ходит курочка в сапожках, выронила пёрышко, из пёрышка-то ядрышко; укатилось оно на Иваново село. На Ивановом селе-то собачка на лычке потявкивает, медведь на цепочке порывается, господин на печке обувается, госпожа за печкой оладьи печёт, сухари толчёт…

А вскоре Татищев провожал возок Арцыбашева в сибирские земли. У заставы напоследок крепко обнялись:

– Ну, не поминай лихом, Егор Михайлыч! Как мог, так я дело и справил. На тебя теперь вся надёжа. Бог даст, встренемся, наеду глянуть на вашу Хангорию и завод Ирбинский.

– Милости просим, Никита Васильич.

И тут мимо них по заснеженной дороге, бряцая студёными цепями, поволоклась закованная в ножные кандалы и ручные «железа» длинная вереница арестантов, нанизанных по десятку на «шнур»[1]. Ссыльных Ея Величества по этапу гнали в Сибирь на каторгу. Они понуро брели, лишь изредка поднимая бледные лица с клеймёнными лбами и рваными ноздрями, и протягивали ладони за жалкой милостыней. Вдруг один из них споткнулся на месте, остолбенел на минуту, а затем рванулся из связки арестантов. Кандальник взбешённо мычал, гукал и яростно тыкал пальцем в сторону Татищева. Он широко разевал рот, болтал в нём обрубком языка, булькал, силясь выдавить: «Ы-ы-а-а!».

Татищев признал в каторжанине Ваську Жужлу и равнодушно отвернулся. Конвоир же огрел буйного зихорника прикладом и выровнял строй. Арцыбашев с сожалением посмотрел ему вслед, а потом нахмурился, махнул рукой, закутался в медвежью доху и завалился в крытый возок. Там угрелся под плотной рогожей и тронулся в дальний путь на Ирбинский рудник. Так и добирались они в горнорудную Сибирь одной дорогой. Встретились ли они на Ирбинском руднике? О том история умалчивает, ибо судьба каторжанина Васьки Жужлы столь малозначительна, что в дальнейшем не оставила никаких следов на её скрижалях.

ЭПИЛОГ

Об остальных героях сего повествования равнодушное перо истории черкнуло несколько строк.

Татищева вскоре вызвала к себе императрица и велела с поспешанием отправляться в Оренбургскую экспедицию усмирять киргизских мятежников. И он понял, что Бирон его убирает с пути, ибо тайный советник всё же умудрился отстранить от должности члена Берг-директориума барона Шомберга за взятничество и другие злоупотребления. Но пока Василий Никитич уговаривал хана Абдул Хаира снова присягнуть рос-

[1] «Шнур» – на этапировании для предупреждения побегов использовались «ручные укрепления» – так в официальных документах тех лет именовались длинные железные прутья. На каждый такой прут надевалось по десять наручников с арестантами и в таком виде этапируемые передвигались многие версты до следующего этапного острога. Так как эту систему предложил Иоганн Дибич, в то время начальник генштаба Российской армии, то на жаргоне конвойных её прозвали «прутом Дибича». Среди же арестантов этот прут именовали «шнуром».

сийской императрице, златорогий Минотавр уже через подставного заводчика Осокина овладел железорудной горой Благодатной, когда-то открытой Татищевым. Карьера Татищеву так и не удалась, семейной жизни как таковой тоже не было, друзей осталось мало, а врагов он нажил – пруд пруди. Умер Василий Никитич 15 июня 1750 года в деревне Болдино. Накануне смерти он получил известие о своём награждении государыней Елизаветой орденом Святого Александра Невского. Татищев письмом поблагодарил императрицу… и возвратил орден как уже ненужный ему. Вслед за господином убрался на тот свет и верный раб, денщик Афанасий.

Анна Иоанновна же скончалась тогда, когда ей и предвещалось в пророческом сне. Случилось это совершенно неожиданно. С утра весёлая и бодрая, за обедом Анна Иоанновна вдруг потеряла сознание. Придя в себя, она сразу заговорила о престолонаследии. Царица понимала, что жить ей оставалось недолго. Преемником по желанию императрицы стал полугодовалый сын её племянницы Анны Леопольдовны. И 17 октября 1740 года императрицы не стало.

Бирон недолго горевал о смерти любовницы. Озлобленный, подозрительный и хитрый, регент правил жестоко и самоуверенно. Однако властвовать ему суждено было менее месяца. Он был обвинён в захвате регентства и небрежении здоровьем покойной государыни. 18 апреля 1741 года был обнародован манифест «О винах бывшего герцога Курляндского». Как говорили его недоброжелатели, «ему обломали золотые рога и сделали бодливого быка комолым». При аресте Бирон отчаянно сопротивлялся. Служивые осерчали и «успокоили» бывшего фаворита крепкими тумаками. Допрашивал его с чрезвычайным пристрастием всё тот же любезный Андрей Иванович Ушаков. Эрнст Иоганн фон Бирон был приговорён к смертной казни, но помилован и отправлен под строгим надзором на высылку в Шлиссельбург.

Арцыбашев Егор Михайлович, горный инженер, выпускник Славяно-латинской академии, ещё долго и успешно управлял Луказским медным и Ирбинским железоделательным заводами. А с 1774 года казённый Ирбинский завод попал в частное владение авантюристам, много лет переходил из одних жадных рук в другие, пока не заполыхал всеобщим возмущением и отчаянным бунтарским пожаром.

Но это уже другая история…